

Цветаева — Пастернаку:

«Вы в моей жизни необходимы»

14 июня 1922 г., Москва

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ: Дорогая Марина Ивановна! Сейчас я с дрожью в голове стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» — и был перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания <...> Простите, простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду?

Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты» <...>

Я и сам собираюсь за границу. Непременно захочу Вас видеть иначе, нежели всегда хотел.

Потрясенный Вами Б. Пастернак.

19 ноябрь 1922 г.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ: Дорогой Борис Леонидович! Я дала Вам письмо остыть в себе, погрестись в щебне двух дней — что успеет? И вот, из-под щебы.

Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) — «Потому что в доме совсем нет хлеба». — «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» — «5 фунтов». — «А у меня 3. Пишете?» — «Да (или нет, не важно)». — «Прошайте» — «Прошайте».

11-го (по-старому) апреля 1922 г. Похороны Т.Ф. Скрибиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.

Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг — рука на рука — как лапа. Вы. Теперь самое главное: стоим у могилы. Руки на рукаве уже нет. Чувствую — как всегда в первую секундочку после расставания —

нила права на Бориса (Борис остался в Москве). В самую секунду его рождения возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала метель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная метель за зиму, и именно в его час!

Мой сын — Sonntagskind, будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я себе его заказала.

Я приучила свою душу жить за окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела — о, только на нее! — не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом (maison roulante), но никогда дом — душой. Я в жизни своей отсутствую, меня нет дома.

11 нов. февраля 1923 г.

Ц. — П.: Вы не человек и не поэт, а явление природы. Бог по ошибке создал Вас человеком, оттого Вы так и не вжились — ни во что! И — конечно — Ваши стихи не человеческие — ни приметы. Бог задумал Вас дубом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (есть такие дубы!), а Вы должны жить.

9 марта 1923 г.

Ц. — П.: Пастернак, я не приеду. (У меня болел муж, и на визу нужно 2 недели. Если бы он был здоров, он бы, может быть, сумел что-нибудь устроить, а так я без рук) <...> Принялась за большую книгу прозы (перепишу!), рассчитаю ее окончание на 1/2 апреля. Работала все дни, не разгибая спины. Гору свинуть! Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед жизненной собой!). У меня (околожающих) очень трудная жизнь, с моим отъездом весь чертов быт на них. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и делала. Теперь поздно: книга будет, а Вас нет. Вы мне нужны, а книга — нет.

Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов — в княжество снов.

Завтра утром допишу. Сейчас больше трех, и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным.

25 июня 1925 г.

Ц. — П.: <...> Георгий же — в честь Москвы и несбывшейся Победы. Но Георгием все-таки не зову, зову Мур — от kota, Борис, и от Германин, и немощно от Марины. На днях ему 4 месяца <...> Ваш старше всего на два, нет, на 15 года. Будут друзья. (Ваше имя он будет знать раньше, чем Ваш — мое!)

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». Я бы предложила такую формулу: вокруг света (моряк) и вокруг вселенной (отец). Ибо колыбель — единственная достоверная вселенная.

25 июня 1925 г.

Ц. — П.: Я Вас чувствую главой поколения (на весь Вавилон выше!). Вы — последний камень рушащегося Вавилона, и Ваше имя, Борис, в моем сознании звучит, как угроза грома — рокотом, очень издали. И не то креститься, не то ставни закрывать. А я на этот гром — двери настезь — авось!

2 июля 1925 г.

П. — Ц.: Мне живется очень трудно, и бываю времена, когда я прихожу в совершенное отчаяние. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов.

Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок.

Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что делать. Это очень унижительная процедура.

<...> начал роман в стихах. Я дал себе слово тайть работу, пока все не кончу. И опять непреодолимые материальные причины легли поперек работы и механически отсекали то, что стало первой главой. Мне пришлось ее показать и понести на рынок. Вещь у меня оторвали с руками.

Вы чище и крепче меня, потому что не изменились. А меня бы Вы не узнали. Если талант, в аналогии, представляется каким-то изгибом шейной мышцы, по особому приподнимающей подбородок, то эту горделивую породистую жилку постоянно находилась в Вас и не перестаете замечать: мне кажется, я бы мог Вас описать, разбирая свое собственное чувство в минуты поэтического подъема. Но Вы и сами ее обнажаете, Вы пишете с раскрытым воротом, Ваш лиризм по-прежнему молод, святая поза осталась в нем.

июль 1924 г. — 5-го июля

Ц. — П.: У Блока была тема — Россия, Петербург, цыгане, Прекрасная дама и т.д. Остальное (т.е. его, Блока, в чистом виде) принимали бесплатным приложением. Вы, Борис, без темы, весь — чистый вид, с какого края Вас любить, по какому поводу? Что за Вашими стихами встает? Нечто: Душа, Вы. Тема Ваша — Вы сам, которого Вы еще открываете, как Колумб — Америку, всегда неожиданно и не то, что думал, предполагал. Что здесь любить читателю? Вас.

Любить Вас читатель не согласится. Будет придираться к ритмике, etc., но за ритмику любить он не сможет. Вы, самый большой поэт Вашего времени, — первый, дерзнувший без тем, осмелившийся на самого себя.

«Я себе сына заказала»

осень 1924 г.

Ц. — П.: Борис, если не долетел, повторю вкратце: в феврале я жду сына. Со мной из-за этого ребенка уже разлучились два моих друга — из чистой мужской оскорбленности, негодования, точно я их обманула, хотя ничего не обещала!

С рождения моей второй дочери (родилась в 1917, умерла в 1920 г.) прошло 7 лет. Это первый ребенок, который после этих семи лет — поступался. Борис, если Вы меня из-за него разлюбите, я не буду жалеть. Я поступила правильно, я не помешала верстаку жизни... я не воткнула палки в спицы колеса судьбы.

14 февраля 1925 г.

Ц. — П.: 1-го февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев в моем чреве и десять дней на свете, но желание С. (не требованье) было назвать его Георгием, и я уступила. И после этого — облегчение.

Назови я его Борис, я бы навсегда простилась с будущим: Вами, Борис, и сыном от Вас. Так, назвав этого Георгием, я сохра-

нила права на Бориса (Борис остался в Москве).

В самую секунду его рождения возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала метель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная метель за зиму, и именно в его час!

Мой сын — Sonntagskind, будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я себе его заказала.

Я приучила свою душу жить за окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела — о, только на нее! — не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом (maison roulante), но никогда дом — душой. Я в жизни своей отсутствую, меня нет дома.

Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это — доля. Ты же — воля моя, та, пушкинская, взамен счастья (я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива).

Ты — мой вершинный брат, все остальное в моей жизни — аршинное.

26 мая 1925 г.

Ц. — П.: <...> Георгий же — в честь Москвы и несбывшейся Победы. Но Георгием все-таки не зову, зову Мур — от kota, Борис, и от Германин, и немощно от Марины. На днях ему 4 месяца <...> Ваш старше всего на два, нет, на 15 года. Будут друзья. (Ваше имя он будет знать раньше, чем Ваш — мое!)

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». Я бы предложила такую формулу: вокруг света (моряк) и вокруг вселенной (отец). Ибо колыбель — единственная достоверная вселенная.

25 июня 1925 г.

Ц. — П.: Я Вас чувствую главой поколения (на весь Вавилон выше!). Вы — последний камень рушащегося Вавилона, и Ваше имя, Борис, в моем сознании звучит, как угроза грома — рокотом, очень издали. И не то креститься, не то ставни закрывать. А я на этот гром — двери настезь — авось!

2 июля 1925 г.

П. — Ц.: Мне живется очень трудно, и бываю времена, когда я прихожу в совершенное отчаяние. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов.

Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок.

Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что делать. Это очень унижительная процедура.

<...> начал роман в стихах. Я дал себе слово тайть работу, пока все не кончу. И опять непреодолимые материальные причины легли поперек работы и механически отсекали то, что стало первой главой. Мне пришлось ее показать и понести на рынок. Вещь у меня оторвали с руками.

Вы чище и крепче меня, потому что не изменились. А меня бы Вы не узнали. Если талант, в аналогии, представляется каким-то изгибом шейной мышцы, по особому приподнимающей подбородок, то эту горделивую породистую жилку постоянно находилась в Вас и не перестаете замечать: мне кажется, я бы мог Вас описать, разбирая свое собственное чувство в минуты поэтического подъема. Но Вы и сами ее обнажаете, Вы пишете с раскрытым воротом, Ваш лиризм по-прежнему молод, святая поза осталась в нем.

июль 1924 г. — 5-го июля

Ц. — П.: У Блока была тема — Россия, Петербург, цыгане, Прекрасная дама и т.д. Остальное (т.е. его, Блока, в чистом виде) принимали бесплатным приложением. Вы, Борис, без темы, весь — чистый вид, с какого края Вас любить, по какому поводу? Что за Вашими стихами встает? Нечто: Душа, Вы. Тема Ваша — Вы сам, которого Вы еще открываете, как Колумб — Америку, всегда неожиданно и не то, что думал, предполагал. Что здесь любить читателю? Вас.

Любить Вас читатель не согласится. Будет придираться к ритмике, etc., но за ритмику любить он не сможет. Вы, самый большой поэт Вашего времени, — первый, дерзнувший без тем, осмелившийся на самого себя.

«Есть тысячи женских

лиц, которых

мне бы пришлось

любить, если бы

я давал себе волю»

10-14 июля 1925 г.

Ц. — П.: Мне вот уже (17 г. — 25 г.) 8 лет суждено кипеть в быту, я — тот козел, которого хотят резать, которого непременно заре- и недоре-зывают, я — то варевое, которое (8 лет) кипит у меня на примусе... Я растерзана жалостью и гневом, жалостью — к своим, гневом — на себя; за то, что терплю. Презирая себя за то, что по первому зову (1001 в день) была срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА — обратно. Во мне протестантский долг, перед которым даже моя католическая любовь (к тебе) — шутка, пустяк.

Я неистово озлоблена, и меня не любят, восхищаются, боятся. Целый день киплю в

котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени думать, думает перо... Живу фактически взаперти. У тебя хоть между редакцией и редакцией, редакцией и домом есть куски, отрывки тротуара, пространства. Я живу в котловине, залуженная холмами: крыша, холм, на холме — лежа — туша: туша. Друзей у меня нет — здесь не любят стихов, не нужны, а вне — не стихов, а того, что их создает, — что я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях. Да еще с мужской иронией!

Деревня: свои две руки и ни секунды своего времени. Деревьев не вижу, дерево ждет



любви (внимания), а дождь мне важен, поскольку просохло или не просохло белье.

Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А тогда что? С моста в Москву-реку? Да, милый друг, со стихами как с любовью: она тебя бросает, а не ты ее.

«Не жди слов,

побывавших в кислотках»

4 января 1926 г.

П. — Ц.: О смерти Есенина. Этот ужас нас совершенно смил <...>

Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности — это крайнее воплощение того в поэзии, чему нельзя не поклоняться и чему остались верны Вы, а я нет. Последнее стихотворение он написал кровью. Его стихи неизмеримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в быстрой и страсти... Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни раза, чтобы я не отклонял этой несурзацы. Я доходил до самоуничтожения в стараны разрушить это сопоставление, дико, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горячей жизни, бездонная поченность, популярность, признанность всеми редакциями и издательствами и прочее, здесь — мирное прозябанье, готовое расписаться в своей посредственности, постоянная спорность, узкий круг, другие, несравнимые, загадки и задачи, конфузьящая обстановка отказов и двусмысленностей. И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя <...> дал ему пощечину. Он между прочим думал колнуть меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в постоянную радость себе вменяет это собственное признание. Сейчас горько и немудрено об этом говорить.

23 февраля 1926 г.

П. — Ц.: <...> Будто бы Есенин перед отъездом говорил Казину: «Вот увидишь, как обо мне запишут». С этим хотят поставить в связь домисел о том, будто бы Е. хотел устроить покушение на самоубийство, в чем между прочим ищут объяснение факта, что кисть правой руки была у него на горле и защемлена петлей.

19 марта 1926 г.

П. — Ц.: Потом я хотел рассказать тебе о жене и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и — в эти дни; о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю и боюсь, когда она не пьет рыбьего жира <...> Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не падает в соли и щелочи, разъедающие ее до дна. Будь счастлива в Лондоне, как я счастлив сейчас с тобой, не жди никогда слов, побывавших в кислотках, ты все знаешь.

ок. 27 марта 1926 г.

Ц. — П.: Кстати, нас с тобой на громком диспуте вместе ругали. «Белиберда вроде Пастернака и Цветаевой». Мы за границей до смешного ходим в паре. У всех на устах.

В Россию никогда не вернусь. Просто потому, что такой страны нет. Мне некуда возвращаться. Не могу возвращаться в букву, смысла которой не понимаю (объясняют и забывают).

ок. 9 апреля 1926 г.

Ц. — П.: О безукоризненной вежливости же — вспомни Блока и Маяковского, обоих, кто бы я могла любить (тепер — нет). От Блока я стояла меньше чем в 2 вершках, толпа

теснила — рядом, 1921 г., а в 16 я написала: «И по имени не окликну, и руками не потяну». И не потянула. А он умер. А с Маяковским — раннее утро на Б. Лубянской, громовой оклик: Цветаева! Я уезжала за границу — ты думаешь, мне не захотелось сейчас, в 6 часов утра, на улице, без свидетелей, кинуться этому огромному человеку на грудь и проститься с Россией? Не кинулась, потому что знала, что Лилия Брикс и не знаю что еще...

Только в 1926 г., после лондонской знати, появилась: я получила не интеллигентское, а аристократическое воспитание — дунное рано умершей матери. Отсюда, от нее, ненависть к буржуазии и полупрезрение — не без добродушия — к интеллигенции, к которой никогда себя не причисляла! Как один в Москве мне сказал: феодальной строй. Ворот уж нет, герб держится.

20 апреля 1926 г.

П. — Ц.: <...> Есть тысячи женских лиц, которых мне бы пришлось любить, если бы я давал себе волю. Я готов нести на всякое проявление женственности, и видимостью ее кишит мой обиход. Может быть, в воплощении этой черты я рожден и сложился на сильном, почти абсолютном тормозе.

<...> ответить, как никому никогда не отвечала, — как себе самой. Ехать ли мне к тебе сейчас или через год? Эта нерешительность у меня не абсурдна, у меня есть настоящие причины колебаться в сроке, но нет сил остановиться на втором решении (т.е. через год).

ок. 28 апреля 1926 г.

Ц. — П.: Через год. Ты — громадное счастье, которое движется медленно. У кого ты спрашиваешь? У той, которая с тех пор как себя помнит три дня носила с собой письмо — только чтобы не прочесть! (Ты — гроза, которая только еще собирается.)

А уж сейчас, Борис, ни за кого не вышла замуж. Знаешь мою детскую мечту (мечта многих, мечта мною десятки раз воушило слышанная, — и от девочек и от старух,



Борис Пастернак. Карандашный портрет художника Николая Вышеславцева

мечта времени): Ребенок — и одна. Жизнь с ним, в нем, без того Или, это я уже сейчас, смерть с тем, в том.

St. Gilles, 23 мая 1926 г.

Ц. — П.: Я НЕ ЛЮБЛЮ МОРЯ. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. А ночью! Холодное, шаркающее, невидимое, нелюбимое, исполненное себя — как Рыбка! Земля я жалела: ей холодно. Морю не холодно, это и есть оно, <...> Чувственное блудие. Плоское, Борис! Огромная плоскостная лодка, ежeminутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя поглядеть (мокрое). На него нельзя молиться (страшное). Море — диктатура, Борис! Гора — божество.

21 июня 1926 г.

Ц. — П.: В Днях переписка статьи Маяковского о недостаточной действительности книжных прикличков. Привожу дословно: «Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдывая пыль со старой обложки: Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина! Но это все временное. Поэтому напрасно в это ослы интерес к Красной Армии; попробуйте почтять эту книгу Асеева и т.д.

Между нами — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него.

«Я нравлюсь старикам,

женщинам и собакам»

ок. 10 июля 1926 г.

Ц. — П.: У меня другая улица, Борис, лирическая, без людей, с концами конюв, с

Письма печатаются во фрагментах. Многоочередие в локанных скобках отмечены обрывки текста внутри абзацев. В редких случаях для облегчения чтения знаки препинания приведены в соответствие с ныне принятыми.

АРХИВ



Цветаева с дочерью Ариадной (слева)

Долгая пауза в «рассекречивании» этой переписки была вызвана не только запретом дочери Марины Цветаевой — Ариадны Эфрон на публикацию большей части цветастовского фонда, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства. Срок табу истек в 2000 году, но сами письма требовали долгой и кропотливой реконструкции. Деле в том, что подлинники писем Цветаевой были утеряны еще в военные годы, когда сотрудница Музея Скрибина, не вышускавшая бесценного чемаданчика из рук, однажды из-за усталости оставила его в электричке. И лишь многолетние штудии цветастовских записных книжек и черновики, произведенные ведущим специалистом РГАЛИ Еленой Коркиной и автором монографии о Цветаевой Ириной Шевеленко, позволили восстановить эпистолярное наследие двух великих поэтов.

плечом, что Вы рядом, отступив на шаг. Задумываюсь о Татьяне Федоровне. Ее последний земной воздух... И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновение.

Берлин, 29 ноябрь 1922 г.

Ц. — П.: Я живу в Чехии (близ Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей — га-скаю воду. Третий день уходит на тонку огромной кафельной печи. Жизнь мало чем отличается от московской, бытовая ее часть — пожалуй, даже бедней! — но к стихам прибавилась семья и природа. Месяцами никого не вижу.

«Вы мне нужны, а книга — нет»

10 ноябрь 1923 г.

Ц. — П.: Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе — далеко! И было одно место — фонарный столб — без света, сюда я вызывала Вас: «Пастернак!» И долгие беседы бок о бок — бродячие...

Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни необходимы, куда бы я ни думала, фонарь сам встанет. Я выколую фонарь...

И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судьбы, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями», это будет: мой вызов, Ваш приход.

Марина Цветаева: Вот я тебя не понимаю: бросить стихи.

А тогда что? С моста в Москву-реку?

Да, милый друг, со стихами как с любовью:

она тебя бросает, а не ты ее

детством, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им и не нравлюсь, у них нюх. Я нравлюсь старикам и женщинам и собакам. Я не нравлюсь голому инстинкту, я не нравлюсь полу, пусть я в твоих глазах теряю. Мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб — оцени.

ок. 20 июля 1926 г.

Ц. — П.: <...> я еду в Чехию, а ты больше всего на свете любишь свою жену, и все в порядке вещей.

Борис, одна здесь, другая там — можно, обе там — невозможно и не бывает...

Двум поездам вслед не глядя.
Не бойся, что я чем-нибудь преуменьшаю твою любовь к жене, но «я люблю ее больше всего на свете» — зачем ты мне это твердишь, это ей надо знать, не мне.

30 июля 1926 г.

П. — Ц. На прошлой неделе я дал Асееву, который тогда тоже присутствовал, прочесть Поэму Конца и Крысолова в печатных отписках. Я дал ему месяц на прочтение и для спокойного, ничем не связанного отзыва. Он позвонил мне рано утром по телефону под сильнейшим впечатлением этой ни с чем не сравнимой, гениальной вещи... Они мечтают о перепечатке Поэмы в Лефе. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что считаю мечту неосуществимой. Главлит не допустит твоего имени, а до главлита, верно, и Маяковский, относительно которого все уверены, что вещь ему понравится безумно.

4 августа 1926 г.

Ц. — П.: Борис, я с ума сошла. Теперь, когда больше не верю, скажу: из обоих писем по слезам я поняла — ты берешь партийный билет. Понимаешь мой ужас? Единственная вещь, которая бы нас развела навсегда (короткое жизненное всегда). <...> Борис, если мое горе называ-

ташь, пропишет мне, что четвертованье и сажанье на кол есть последнее открытие передового человечества, читавшего Маркса в библиотеке, а не глодавшего его в пещере, а послезавтра другой сукин сын (прости, Марина) по служебным обязанностям докажет, что я — английский шпион, потому что на конверте, полученном мной, английские марки, и оно из Лондона, и потребность в связи с людьми и миром — блажь на взгляд бесчуждомленной чуждомы, которая лучше меня знает, что надо мне для моего спасенья. На эти фразы мне не отвечай, не облегчай другим высказу.



кон. октября 1927 г.

Ц. — П.: Теперь о вчера. Пришел Родзевич, я прочла ему кое-что из твоего письма, чувства, что озолочиваю, оалмазливую... И знаешь, первое, что он сказал: М! Вам надо бы в Россию. Я похолодела. Что?! — Да, да, не навсего, съездить, вернуться, летом, Вам надо, Вас надо там, они тянутся к Есенину, потому что не доросли до Пастернака и никогда не дорастут, а Маяковский и Асеев — бездушны, им нужно души, собственной, Вашей. Нельзя жить своим запасом, Вы 5 лет как уехали...

Не ты ко мне в мою — европейскую и квартирную — неволю, а я к тебе в мою русскую тех лет свободу. Борис, на месяц или полтора, этим летом, ездить вместе, — У-у-ра-ал... (почти что у-р-ра-а!). Реально: ты бы там, а Горький здесь должны были бы поручиться в моей благонадежности.

ок. 12 ноября 1927 г.

Ц. — П.: <...> Мой день: утром варка утреннего и снаряжение детей на прогулку — варка обеда — кусочки Федры — дети с прогулки, Мур спать, обед. После обеда: прогулка с Муром — чай, кормежка детей и гостей — приезд С. после съемки — мысли об ужине, кусочки Федры, укладывание Мура, ужин. Вечер: С. в городе (дела и уроки), Аля спит, я — нет, не пишу, — куражу нет (фуражу!). Письма? Некому, тебе — только смущать в работе. Книг нет — в Мёдоне нет библиотеки, хоть приходской, иди некуда, все либо в городе, либо — хуже — дома, у себя дома, а я не хочу ни в какой, хочу из, а никто не хочет, потому что дождь и у большинства башмаков нет. И так, с 9 часов до Сережинного поезда (1 час) — шью.

12 ноября 1927 г.

П. — Ц.: Ты легко себе представил (о других радостях дальше), какую радость доставило мне то, что впервые за эти годы ты занимаешься, или начинаешь думать, или допускаешь мысль о приезде сюда. Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький <...> Асеев сказал, что принимается за дело о твоём возвращенье, что говорил уже об этом с Луначарским, но тот будто на стену полез и объявил, что это покамест совершенно невозможно.

июнь 1928 г.

Ц. — П.: Борис, наши нынешние письма — письма людей отчаявшихся: примирившихся. Сначала были сроки, имена городов — хотя бы в 1922 г. — 1925 г.! Из нашей переписки исчезли сроки, нам стало стыдно — что? просто — врать. Ты ведь отлично знаешь — то, что я отлично знаю. Со сроками исчезла срочность (не наоборот!), дозарезность друг в друге. Мы ничего не ждем. О Борис, Борис, это так.

Ты мне (я — тебе) постепенно стал просто другом, которому я жалею: больно — залижи. (Раньше: больно — выжги!)

18 апреля 1930 г.

П. — Ц.: Ты все знаешь уже, вероятно, из газет. Если можно, удовлетворишь тем немногим, что прибавлю о себе. Три дня я был весь в совершеннейшем плакал, видел, понимал, плакал и восхищался. На четвертый день меня отлучили от события <...> Я нигде не мог пристроить двух столбов о нем, которые ничего страшного, кроме признания красоты его свободного конца, не заключали. Сохрани, пожалуйста, это факт в тайне. Если бы тут узнали, что он стал известен у вас, я бы стал мишенью ежедневной клеветы, а это менее чем когда нужно мне... Я от Володи ждал чего-то подобного. Я думал, что он по-своему раздвинет рамки жизни и роковой предугаданности всеми, т.е. исчезнет в неизвестность или обманет ожиданье еще чем-нибудь. Но мне казалось, что, обманув, останется жить.

«Все забираю в гробницу»

16 марта 1931 г.

Ц. — П.: Я не любовная героиня, Борис. Я по чести — герой труда: тетрадного, семейного, материнского, пешего. Мои но-

ги — герои, и руки — герои, и сердце, и голова.

между 2 и 10 июля 1931 г.

Ц. — П.: Начну со стены. Вчера впервые (за всю с тобой, в тебе — жизнь), не думая о том, что делаю (и — делаю ли то, что думаю?), повесила на стену тебя — молодого, с поднятой головой, явного метиса, работы отца <...> Теперь я просто могу сказать: «А это — Борис Пастернак, лучший русский поэт, мой большой друг», говоря этим ровно столько, сколько сама знаю.

О преемственности. Об ответственности. Можешь быть, после Пушкина — до тебя — и не было никого? Ведь Блок — Тютчев и прочие — опять Пушкин, ведь Некрасов — народ, т.е. та же Арина Родионовна. Вот только твой «красивый, 22-летний»... Думаю, что от Пушкина прямая кончается вилок, вилами, один конеп — ты, другой — Маяковский.

июль 1935 г.

Ц. — П.: И я дура была, что любила тебя столько лет напролом.

Но мое дело — другое, Борис. Женщине — да еще малокрасивой, с печатью *особости*, как я, и не совсем уже молодой — *унизительно* любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок.

Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), а я — очень глупа.

Я защищала право человека на уединение — не в комнате, для писательской работы, а — в мире, и с этого места не сойду.

Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, потому что все стоящие были одиноки, а я — самый меньший из них.

октябрь 1935 г.

Ц. — П.: О тебе. Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты — преступник. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде — мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, *обратное* тебе: я на себе поеду везу, чтобы повидаться <...> Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от *вашей* мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Б. Пастернак. Ибо вы в *последнюю* минуту отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек... Я, когда буду умирать, о душе (себе) подумаю не успев, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и, может быть, в *лучшем*, эгоистическом, случае, не растащили ли мои черновики.

Собой (душой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах, редких, ибо я всю жизнь — водила ребенка за руку. Но именно потому, что всю жизнь заботилась, всю жизнь и огрызнулась — отпрызалась. На «мягкость» в общении меня уже не хватало... *Мать-пеликан* в силу создавшейся системы питания — *зла*. Ну, вот.

<...> вы от всего себя, этой ужасной жути: нечеловека в себе, божества в себе), как собаки собственным простым языком от ран, лечите — любовью, самым простым. И когда Ломоносова мне с огорчением писала о твоей «невоздержности», по наивной доброкачественности путая тебя с Пушкиным и простой мужской страстностью, истодковывая твой новый брак: да, милая, слава Богу, ибо это — его последний приезд.

Только пол делает вас человеком, даже не отцовство.

Поэтому, Борис, держись своей красоты.

март 1936 г.

Ц. — П.: Литературная газета (где твою речь) — о, Господи! «Мы в нелогоду» в стужу шли на подъем (хотя бы — напролом!) Мы пляшем и дружим и песни поем. Ласкаем детшек, растим города...», впрочем это уже не Безыменский, а Беспощадный, т.е. та же бездарь, только с другой начинкой, что здесь, на всепарижском смотре поэтов. То же, ибо то же чувствую: встать и уйти.

То, что у вас считается бесстрашием (очевидно, так надо понимать твою речь) — не у «нас» (у нас — нет), не у нас, в Париже, а у нас — в Лирике...

Ничего ты не понимаешь, Борис (о лиана, забывшая Африку!), ты — Орфей, пожираемый зверями: пожурят они тебя.

Тебя сейчас любят все, потому что нет Маяковского и Есенина, ты чужое место замещаешь — надо же кого-нибудь любить! — но, любя, уже старается: ломает, обкарнывают по своему образу-подобию.

<...> Мур мне говорит: «Мама, Вы в маленьком — совсем не эгоист: все отдаете, всех жалуете, но зато — в большо-ом — Вы страшный эгоист и совсем даже не христианин. Я даже не знаю, кака у Вас религия».

— Не христианин, Мур, а фараон, все забираю в гробницу, дабы через тысячелетия проросло зерно.

Я знаю, что я своими делами больше права, чем вы с вашими словами. Постарайся дожить до девятиста лет, чтобы это застать. Потому что слова о стихах не помогают, нужны — стихи.

О ЧЕМ ПИСАЛИ 3, 4, 6 января 1904 года — подготовил Сергей Сокуренко



Медведь в багаже

2 января почтовый поезд № 3 Николаевской железной дороги следовал в Москву при исключительных обстоятельствах, благодаря которым багаж в пути не выдавался ни на одной станции до Москвы, начиная от станции Кулишской. Дело было в следующем:

Ночью на станции Вышний Волочек неизвестный мужчина сдал в багаж большую бочку весом в 3 пуда 10 фунтов, адресовав груз в Москву. Когда на станции Лихославль из багажного вагона начали выгружать багаж, то багажный кондуктор заметил, что багаж шевелится. Было ясно, что в бочке находится живое существо, и напуганному воображению кондуктора представилось, что в бочке заделан вор с целью в пути выбраться из бочки и обокрасть денежный сундук или же похитить более ценный багаж.

Кондуктор занял место в своем отделении при вагоне и начал чутко прислушиваться, что будет в вагоне делаться. Ждать пришлось не долго: скоро он ясно услышал в вагоне тяжелые шаги, а затем треск железного денежного сундука. Наконец что-то упало тяжело, массивное, с грохотом и стуком, но что именно, кондуктор не мог сообразить.

В это время вагон подошел к станции Кулишской. Багажный кондуктор поднял тревогу: собрал станционную жандармскую полицию, сторожей, поездную бригаду, и вся эта толпа устремилась к багажному вагону. Кондуктор отпер замок, отодвинул дверь — все ахнули и отшатнулись от вагона: в углу его стоял большой медведь, который при виде народа неистово заревел. Моментально дверь была заперта, и редкий багаж с поездом покатил в Москву <...>

Здесь опять были созваны сторожа и жандармы, и было приступлено к ловле зверя. Сторожа приуменьшили на него тяжелый и толстый брезент, и этим путем им удалось овладеть медведем, после чего его свезли и перетасили в особое помещение, где он и оставлен впрямь до распоряжения начальства или явки хозяина. При осмотре багажного вагона оказа-

лось, что «Миша», соскучившись сидеть в бочке, выдвинул в ней дно и, выбравшись на свободу, начал гулять по вагону. Наткнувшись впотьмах на денежный сундук, он почти отломил у него крышку; потом на его дороге очутился большой пожарный бак с водой. Медведь напряг силы и свалил его. В заключение он переломал в вагоне все пожарные железные ведра. Разлившейся из бака водой подмочено очень много багажа и совершенно залита вся железнодорожная корреспонденция.



Хроника

Рассказывают, что когда медведя, обнаруженного в багажном вагоне Николаевской жел. дор., поместили в сарай, от него сильно пахло перегорелой водкой. Предполагают, что прежде, чем поместить зверя в кадку, его напоили до бесчувствия водкой. Этим объясняется то обстоятельство, что зверь в первое время пути не подавал никаких признаков жизни. <...>



Медведь и... Москва

«...»Весь город вдруг заинтересовался медведем. Везде и все только о нем и говорят. Точно все внезапно ввали в детство.

И не только говорят, но рвутся на перерыв друг перед другом видеть зверя. За два дня Николаевский вокзал посетило столько желающих видеть медведя, сколько Зоологическому саду не собрать в течение десяти лет. С утра до вечера толпится народ около медведя. Это не серая толпа простолюдинов. Поглядеть на медведя приезжает публика в соболях и бобрах, на собственных рысаках. <...>

На 7-е января дорога назначила медведя в аукционную продажу. <...>

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ С МЕДВЕДЕМ В СЛЕДУЮЩУЮ ПЯТНИЦУ

ЛИЦО «ИЗВЕСТИЙ»

Крупно на ломком

СЕРГЕЙ НЕХАМКИН

Сдуйте пыль с семейных альбомов, отыщите фото прадедушек — вы увидите лица читателей «Известий» в 1917—23 годах. Что? Они не читали перед едой советских газет? Да будет вам, Филипп Филиппович, дружок-то не было!

Впрочем, в 1917-м еще были. И в одной из тогдашних передовиц — осторожный намек шефам-политикам: не давите, мы в Питере не единственная газета, приходилось конкурировать! А конкурировать было трудно. «Известия» впервые вышли в 13 марта 1917 года в качестве органа Петроградского Совета Рабочих Депутатов, по сути были чем-то средним между, так сказать, ведомственным информационным



вестником и нормальным изданием. Передовица на первой полосе, дальше — все вперемежку: речи, отчеты, информационные заметки... Заголовки незамысловаты. «И.С. Шабловский о деле Корнилова... «О польских воинских частях»... «Среди казаков»... «Дела железнодорожные»... Кстати, все тексты — без подписей. Сегодня спотыкаешься о тогдашние языковые нормы: «возстание», «десант»... Газета внешне? Формат — как нынешний А-3 («Неделя»), естественно — никаких снимков, рисунков. Бумага толстая, уже пожелтевшая, ломкая. Шрифт крупный, потому что качество печати было отвратительное, типографскую краску явно экономили. Нередко посреди слова — пробел: из набора вылетела буква. Вот так это при ерно выгля дит.

Политическая ситуация менялась стремительно: через некоторое время «Известия» были уже органом Центрального Исполнительного Комитета Рабочих и Солдатских Депутатов, потом ЦИКа и Петроградского совета, потом... Впрочем, это уже история, интересующая сегодня лишь Александра Исаевича Солженицына при написании узла «Апрель Семнадцатого» эпопеи «Крас-



ное колесо» да зануд вроде автора данной заметки. Но из-за того, что официальные наименования издающихся структур становились все длиннее, одно время название газеты занимало чуть ли не четверть первой полосы.

Пара слов про первого редактора «Известий» — Юрия Михайловича Стеклова. Старый большевик, преподавал у Ленина в Лонжюмо... Но в общем-то мемуаристы вспоминают: при всех своих р-р-революционных речах и статьях был Юрий Михайлович этаким баринком: породный, с холеной бородачкой, умный, добродушно-циничный... Стеков пытался играть в собственную политическую игру, «Известия» были его любимым детищем — и набирали вес. В 1925 году как человек, близкий к оппозиции, отставлен от газеты. В 1938-м арестован (в памяти сокамерников остался изможденный старик с тихим голосом). Перед войной содержался в Орловской тюрьме. В 1941-м (уточняя собственную заметку от 9.11.04) расстрелян — подкололи немцы, и заключенных спешно ликвидировали.

Заголовок, схожий с нашим нынешним фирменным логотипом, впервые появился 3 марта 1918 года, номер извещал о Брестском мире. В следующем — забавное сообщение. Крупно, на первой полосе: «Редакция «Известий» считает нужным заявить, что вторая половина заметки «Необходимо разяснение» в № 39(303), начиная со слов «Будем говорить прямо и открыто» и до конца, была редакцией выброшена и попала в печать по недосмотру сотрудника».



МАРИНА ЦВЕТАЕВА
рисунком художника Библиса

ется «твоя семья» — благословляю его (ее). После того ледяного ужаса — все легко, все снесу. Я лежала на песке, на луноне, куда зарылась от людей, и вдруг — никто как Бог: «Глупость! Бред! Билет ни при чем. Проще, прощ». О, я не плачу, больше не буду плакать. Развести нас может только идея.

31 мая 1927 г.

Ц. — П.: Борюшась, ты взволновался о славе. Дай, пойму... теряю свой час славы. Есть в этом горечь? Досада, пожалуй, и вот почему... Мое глубокое убеждение, что, печатайся я в России, меня бы все поняли. Да, да, все, потому что каждый бы нашел свое, потому что я — много, множественное. И меня бы эта любовь — несла.

Просто в России сейчас пустует трон, по праву — не по желанию — мой. Говорю с тобой, как со своей совестью. Ты избраннее меня. Ты видимое превращаешь в невидимое, я невидимое — в видимое. Ты явное делаешь тайным, я тайное — явным: вывожу на свежую воду.

Но, чтобы вернуться к славе, — мой книг в России нет и поэтому поэта нет.

19 июня 1927 г.

П. — Ц.: В конце недели из города привезли газеты. Есть вещи, относительно которых всего естественнее молчаешь полной подавленности и потрясения. С 14-го года, тринадцать лет, было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к «бытовому явлению» свободолоубивого века! И вот — не дано, возмущает до основания, застилает горизонт. Что сказать? Завтра я разверну привезенную из города газету, и журналист в пиджаке, обремененный семей и этим зарабатывающий себе и ей на пропи-

СТАРИЕ ГАЗЕТЫ

145